



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

Административная грация

Николай Лесков

**Административная грация
(Zahme Dressur...[1] в
жандармской аранжировке)**

*Оскверни беззаконие всю землю и наполнена суть дела их вредная.
Ездры III кн., гл. XV, б.*

В наши смрадные дни даже в тиши мерзвостей и греховных песков никуда не уйти от гримас и болячек родной политики: минувшим летом среди тамошних генеральш ужасно много было тревог и смущения из-за их «неопытных мальчиков». Так зовут одни из них своих сыночков, другие племянников, достаточно сомнительной марки, а третьи просто жоли-гарсонсы, при взгляде на мощные плечи которых начинают согреваться пламенем былых страстей их увядшие сердца и потухающие взоры. Волнует генеральш то, что теперь опять стало беспокойно, и молодому человеку легко так оступить, что «этого потом и не поправить». Особенно трепыхали те, у кого их жоли-крошки учатся в Московском университете, откуда армянский просветитель России рукv 2.0 – MСat78 – создание fb2-документа из издательского текстаю властной изверг профессоров Муромцева и Ковалевского. Большинство «крошек» лекциям

предпочитают катки, танцклассы, но задор требует отважного героизма, и когда начальство отняло этих «властителей дум», крошки стали волноваться, делать бетизы и этим огорчать генеральш.

Одна из них волновалась особенно пылко и, тряся пучком фальшивых кудерок над подмазанным лобиком, взвизгивала:

– Я не стерпела и у *cousine Barbe* самому Михаилу Никифоровичу так и отрезала: *pas de zile, pas de zile*, [2] но он все боится, что нас от Европы отмежуют по Нарву, и только потирал руки, а путного ничего сказать так и не сумел...

Услышав нападки на Каткова, отдохавший среди тех же меррекюльских песков директор гимназии с Волыни, не то из хорватов, не то из чехов, вскипел священным патриотизмом и восстал на защиту достолюбезного хорватским сердцам апостола от Страстного бульвара и, взвизгивая не хуже генеральши, стал кричать на нее, что она не понимает предреканий державной политики, ради которой надо изъять не только Муромцева и Ковалевского, но и всех иже с ними.

– Корень зла да извержен будет, – вопил директор, вздымая к тусклому чухонскому небу свой тощий перст.

– Но это значит дразнить Европу, – вопила генеральша.

– И будем дразнить Европу, и будем, но зато не оставим дома нечисти и злоучений, – твердил директор.

Когда они, неистово споря, удалились от скамейки возле памятника, хранивший дотолле молчание сановник из весьма заслуженных презрительно поглядел им вслед и настаивательно подвел итог их спору:

– И злоучений оставлять не след, но и дразнить Европу тоже не годится, а всему беда в том, что люди сегодняшнего дня не умеют вести свою линию аккуратно, рубят, может быть, и по нужному месту, но неловко, без грации. Вот как эти самые чехи на рояли играют: ни в одной ноте не сфальшивит, а того туше, каким вас Антон Григорьевич ласкает, у них ни за что не выходит...

– Так, ваше превосходительство, полагать изволите, – спросил кто-то сановника, – что и администраций туше необходимо?

– Всенепременнейше-с! И что прежде эту грацию администрация в политике соблюдать умела, поясню примером из своих личных опытов.

До того, как меня призвали в столицу, в состав высшего учреждения империи, правил я университетским городом на юге. Время было смутное. Турецкая война, черняевские добровольцы под аккомпанемент аксаковских юродств всех всколыхнули, и моего предшественника среди белого дня в самой людной части города в карете пристрелили. Мне такая участь не нравилась, и с первого же дня стал я зорко присматриваться, и вижу, что всей смуте центр и верхушка – университет и ветеринарный институт: студенты всё больше хохлы, пылкие, упрямые. Под масть им и профессора, которые молодежь и подзуживали, кто поглупей – явно, на лекциях, а кто похитрей – из-под полы, на гулянках да на вечерках. Особенно один трибун у них славился: и умница и оратор не хуже Гамбетты, так что стриженные дивули прямо его слободским Лассалем окрестили и всё ждали, когда же они сомкнутыми рядами, как шпильгагенский

Лео, поведет на «последний, решающий бой».

Присмотрелся я к нему, собрал через жан-дармского полковника все, что знать полагалось, и вижу, что при нем у нас добра не будет. Решил с ним развязаться.

По прежней моей службе расправляться с ученым народом не приходилось, и сильно я задумывался, как бы мне по неопытности не наделать неловкостей, а нас еще в корпусе учили, что на каждую лошадь особый трензель приходится и что важнее всего знать, каким какую тянуть надо. Сижу раз в сумерки у камина и думаю, каким трензелем его подловить, и вдруг адъютант докладывает, что владыка пожаловал с визитом. Архиерей у меня был весьма тонкий, под крылом у московского Филарета возвращенный, и после благословения сразу же заметил мою задумчивость и спросил, в чем дело. Я ему все доверительно доложил – и про туземного Лассаля и про свои поиски трензеля на него. Владыка слушает, янтарные четки перебирает, а потом и спрашивает, не ввел ли я в свои мысли на сей счет учебное начальство. «Нет, – говорю, – вам, владыко святой, свои мысли первому от-

крываю». — «Ну, — говорит, — тогда это дело очень просто, и предоставьте его моему смиреннию: наш ведь граф Дмитрий Андреевич и синод и учебную часть ведает и весьма одобряет, когда мы, духовные, и по учебному ведомству его не оставляем без оповещений. Вот на днях к великому празднику к нему с просфорой игумена посылать буду и при сей okazji письмо на счет вашего Лассалья отправлю. Мой отец Исихий раб верный, а на почте все секретнейшие бумаги нигилистовы приспешники читают и разглашают. Пожалуйста ко мне на днях после вечерни чайку с липовым медом попить, а я к тому времени чернетку своего послания приготовить авось удосужусь». Поблагодарил владыку, заехал к нему дня через три и к его изложению еще кой-какие узорчики подбавил, но в общем владыка все изобразил очень кстати, про меня ни слова, а смущает, мол, его архиерейскую совесть сей трибун аки лев, искай поглотит во вверенном его пастырскому жезлу стаде неразумных овец.

Повез письмо с просфорой отец Исихий, вернулся обратно, прошло еще месяца полто-

ра, а сверху никакого внимания к Лассалю моему не заметно. Осведомился у учебного попечителя, который тоже к Новому году на невские берега прокатился. Оказывается, у него граф только осведомился, почему этого профессора во все общества председателем выбирают да на всех вечерах речи говорить просят. Вижу, стало быть, что владыкино письмо до графа дошло, но тем больше удивляюсь его бездействию и непринятию никаких мер по части «оздоровления корней», о котором и тогда уже Катков усердствовал. Решил: или наш Лассаль сильную руку в столице имеет, или правы те, кто вопит, будто «вожжи из рук выпущены». Так прошло среди неопределенности месяца два-три, как вдруг узнаю, что нежданно-негаданно Лассаль из председателей в самом что ни на есть передовом обществе скинули, а через неделю – из другого, а там и из третьего. И попечитель в удивлении доносит, что студенты его сперва на лекции в университете освистали, затем в ближайший же вечер в его домике все стекла в окнах побили; ума приложить не можем с ним: откуда такой ветер подул про-

тив Лассалья. В газете, где еще недавно каждую пустяковенную заметку его корпусом на самом видном месте печатали, вдруг от редакции заявление, что согласно единогласно выраженной воле сотрудников такой-то впредь участие не принимает...

Одним словом

*Где стол был яств,
там гроб стоит...*

Так мы с попечителем пошутили державинским стишком, а гроб-то и приблизился: через неделю профессора нашли за городом на шоссе с простреленным виском и запиской, какую самоубийцы при себе на прощанье оставляют. На всякий случай распорядился, чтобы на похороны полицмейстер изготовил солидный караул, а на них, кроме старухи его няньки да двух старых сослуживцев, ни одна душа не явилась. Одним словом: «схоронили, позабыли...»

Похороны эти пришлись на великий четверг, а на светлую заутреню владыка в соборе, христосуясь, не без гордости шепнул: «Письмецо-то отец Исихий не зря свозил». Спорить

с ним было в такую минуту некстати, но про себя подумал, что совсем напрасно архиерей письму приписывает то, что само собой к нашему взаимному удовольствию сложилось.

После пасхи весна и лето настали очень хлопотливые по политической части: и по нашим местам загудели те трезвоны, что в Липецке отразились совсем не комедией князя Шаховского, а весьма опасным делом, так что про самоубившегося Лассалья и думать забыл, целые дни и ночи за письменным столом сидя. Так за этими тревогами заработался, что и дочь и правитель канцелярии чуть не насильно выпроводили из дому проветриться. Про отпуск в то лето и думать было грешно, и чтобы отвязаться от них, решил разок взглянуть в цирк, благо полицмейстер все восторгался удивительной укротительницей львов, там выступавшей. Действительно, номер себя оправдал: и у самой укротительницы ноги в рейтузах весьма примечательные, и львов она укрощала со смелостью поразительной, так что потерянного вечера жалеть не приходилось. При выходе не мог не поделиться восторгом с жандармским полковником, которо-

го тут же кстати по срочному делу к себе во дворец пригласил. Пока ехали, он и говорит:

– Весьма удивлен, что вашему превосходительству эта венгерка по вкусу пришлась. Правда, ноги сверхъестественные, но метода ее работы не должна бы, кажется, вам нравиться...

– Да какая же у нее метода?

– Изволили видеть, как она своих львов укрощала! Сколько пороху спалила на выстрелы, сколько хлопучек набросала, бичей обломала! Нам, людям военным, от этой стрельбы и прижигания каленым железом по привычке одно удовольствие, но для штатских, а особенно дамских нервов, это одно обременение и мука едва ли стерпимая...

– А разве не все укротители так поступают?

– Далеко не все: у них есть две школы или методы: дикая – *wilde Dressur*, вот этим манером – огнем и железом, и ручная – *zahme Dressur*, по которой не только не полагается стрелять, но даже бичом только по воздуху хлопают для одной видимости, а между тем результаты достигаются самые блистатель-

ные: и звери слушаются, как шелковые, и в публике полное спокойствие и благодушие. В хороших цирках, например у Ренца в Вене, это варварство давно оставлено, и им только где-нибудь в Линце или в Кракове забавляют, где нет утонченного зрителя, а так как вы сами, ваше превосходительство, редчайший мастер и дока как раз *zahme Dressur*, то я полагал...

Но тут уж я не дал полковнику договорить и, ничего решительно не понимая, попросил указать, когда и в чем именно мог проявить свои укротительские таланты, да еще в определенном стиле и вкусе?

– А в деле с... – и тут полковник полностью назвал фамилию самоубившегося профессора. – Это ли не образец, и притом совершеннейший *zahme Dressur*?

Вижу, что человек хвалит меня совсем не по заслугам, прошу полковника подробно все изложить, благо кони довели к тому времени до дворца, как обстояло это дело, показывая нарочно вид, будто не все подробности помню. По его рассказу дело оказалось куда тоньше, чем я предполагал.

Тут впервые узнал я, что, по их ведомству, кто стоит во главе управлений в университетских городах, обязан при ежегодных поездках в Петербург являться к министру просвещения. Граф Дмитрий Андреевич помянул ему в общих чертах про письмо владыки и велел план действий на месте со владыкой же разработать и по его благословию осуществить. Как лютеранин, полковник затруднился о столь мирских делах беседовать с самим владыкой и, чтобы не отвлекать его от богомыслия, всю стратегию почерпнул все от того же отца Исихия, который на святках графу письмо с просфорою возил.

Прежде всего по их плану надо было узнать, кто в городе первый завистник и конкурент Лассалю. Узнавать тут собственно было нечего: весь город знал, как на того зуб точит Болеслав Конрадович Парасолька, адвокат первой марки, личность тоже очень светлая, но раньше он везде председательствовал и громаду презентировал, а с приходом профессора пришлось ему пересесть на второй план и отодвинуться, чего Парасолька терпеть не мог.

Вот эту самую светлую личность и вызвал полковник к себе в канцелярию. Тот, конечно, явился с лицом, точно в то утро оцет, а не кофе кушал, и как только началась их беседа, вестовой по договору с полковником вызвал его из кабинета. Жандармы еще со времен незабвенного Леонтия Васильевича Дубельта – образец деликатного поведения, и, уходя якобы на минутку, полковник очень извинялся перед Парасолькой. На самом деле он прошел к своей экономке выпить лишнюю чашку кофе, какую она обычно посылала в этот час в служебный кабинет с тем же вестовым. Кофе пил полковник не спеша, затем выкурил папиросочку и, вернувшись после всего этого в кабинет к Парасольке, сугубо извинялся, ссылаясь на важнейшие дела по службе, но сразу же заметил, что гость ему простил бы отлучку и подлиннее: оцет его лика бесследно исчез под сиянием, каким блистал теперь весь его панский лик. Сведя причину вызова к какому-то совершенному пустяку, полковник очень скоро отпустил его с миром, и не успел еще Парасолька покинуть прихожей, как полковник немедленно бросил в ка-

мин ту бумагу, какая блистательно сослужила свою службу, про что ясно говорил лик Парасольки! Перед самым его входом полковник на полуслове оборвал черновик секретного рапорта в столицу с представлением об исходатайствовании в сверхсметном порядке денежного вознаграждения за особые услуги нашему профессору Лассалю, имя, отчество, фамилия, чин и адрес которого были поставлены вполне точно. Уходя за вестовым, полковник, будто по рассеянности, оставил бумагу на столе. Весь план был построен на расчете, что такого случая Парасолька не упустит и, оставшись наедине, любопытствует, не устояв перед соблазном прочесть бумагу, «исходящую от такого места». Лик Парасольки, сиявший восторгом, подтверждал, что расчет оправдался целиком и что ему на долю выпала высшая радость, доступная передовому интеллигенту: он узнал гадость про своего ближнего.

Бумажка эта, написанная как бы ради пробы чернил, без малейшего основания и желанья отсылать ее куда-либо, все свое назначение с уходом Парасольки выполнила, и ее на-

до было тут же сжечь. Тот же расчет учил, что Парасолька, подобно цирюльнику Мидаса, не станет зарывать в ямку свой секрет, а пустит его гулять по свету. Зная наше передовое общество, можно было рассчитать все действие так же верно, как опытный маркер слабым ударом кия гонит шар в намеченную лузу бильярда, какой и оказалась записка возле трупа на пригородном шоссе.

Полковник показывал вид, будто верит, что весь переданный ему лукавым монахом план и им только в точности осуществленный задуман был мной самим и в крайнем случае дополнен и разработан на совещании с владыкой. Вот это и есть, и притом высшей марки, образчик *zähme Dressur* в приложении к политической задаче: опаснейшего зверя окрутили и убрали, даже не заряжая пистолета, умялся полковник, хваля этот номер и за то, что помимо своей прямой цели он оказался плодоносным, так сказать, по инерции.

– Наше общество всегда крепко задним умом, – продолжал полковник. – Парасольке поверили сразу вслепую, и только допустив

похоронить своего вчерашнего бога так мизерно и скудно, бросились проверять основательность гнусного слуха. В канцелярии у полковника водились такие гнусные твари, которые, конечно, под его руководством кой-что показывали, конечно, за большую деньгу нигилистам, и теперь за внушительный куш они по исходящему журналу несомненно доказали, что никогда такой бумаги от них во все никуда и не посылалось. Это пригодилось и к тому, чтобы помешать возвеличению Парасольки, бросая на него довольно густую тень по части клеветы, и ему пришлось укатить навсегда на любезные шляхетскому сердцу берега Вислы.

Так одним ударом бича по воздуху, во-первых, убрали зверя, во-вторых, обезвредили «светлую личность» Парасольки, в-третьих, дали чиновникам полковника и заработать малую толику и оказать услугу нигилистам, что впутывало их в новые петли доверия, а главное – здесь администрация проявила настоящую грацию по своей части: ведь кто кушает даже самый жирный пирог или соус, при грации не нарушит белизны ни галстука,

ни манжет, так и умелому администратору грация помогает самое неприятное дело развязать так, чтобы на его ведомстве не оказалось ни пятнышка, а вся грязь осталась на тарелке, то есть на самом же обществе.

– По сей день не знаю, – сказал сановник, подымаясь со скамейки, – был ли этот план намечен графом Дмитрием Андреевичем или целиком созрел в тиши монастырской келии нашего владыки, но уверен, что и эту историю с Муромцевым можно было так же мирно разрешить по методу *zahme Dressur*. Только для этого нужна забытая теперь грация административных приемов и нужно, чтобы армянский пастух русской молодежи или сам обладал умом графа Дмитрия, или обращался к таким умным и тонким помощникам, как мой владыка.

Вторая половина 1893 года.

Примечания

1

Мягкая, ручная дрессировка. *(нем.)*.

[^^^]

2

Не усердствуйте (*франц.*).

[^^^]